

ванная, что угодно). Южане Фолкнера знали (верили), что можно было бы переиграть прошлое, потому что в своем настоящем они оставались все в прежнем же месте. У Пруста прошлое необратимо и закончено. Для обоих культура, как *место* сознания в настоящем — продолжается (как для Замятина — гибель культуры, но это все равно). Для Померанцева (как и для меня) прошлое — не коллективно, то есть не-культура. «Индивидуальная культура» — просто дурная метафора. Поэтому англичане — у которых нет культуры (Бог миловал), но зато есть цивилизация (Божьим же поущением) — думают, что это «чистый русский модернизм». Они с восторгом переводят померанцевские рассказы и даже читают их по радио с музыкальным сопровождением, не подозревая, что это — Джи Эйч Уэллс наоборот. Только Уэллс приходил в ужас от того, что сам думал (как в «Мысль на последнем пределе») о будущем *общем*, а Померанцев даже испытывает удовольствие от «вытягивания» конца интриги из прошлого в настоящее. Потрясающая серьезность утопических конструкций 20-х — 30-х годов сменяется лишенной пафоса забавностью игры современного утопического сознания.

<ПРИЛОЖЕНИЕ>

ИГОРЬ ПОМЕРАНЦЕВ

ИЗ ДНЕВНИКА

Всех людей, которые носят траурные повязки, я бы убивал. Даже если забыть, что они лишили меня беззаботного, безоглядного, без единой морщинки детства, прощения им нету. Черной лентой окольцована моя детско-отроческая радость. Счастье приходило, когда ему потакало пространство. Все в тебе хочет петь, хочет приплясывать, но лишь когда выходишь наружу, из подъезда в переулок, с узкой улицы на проспект, с проспекта на площадь, с площади на вокзал, все в тебе и впрямь поет или пляшет. Человек с траурной повязкой, мелькнувший в переулке или на площади, означал «замри». Праздник кончался. «Горячо» переходило в «холодно», и эта игра обретала реальную анатомическую температуру. Хорошо, что

этот человек никогда не был твоим подлинным соотечественником. Что-то всегда его выдавало: венозный нос, покррой плаща, акцент во взгляде. Сам факт креповой околесицы на рукаве роднил с тем или тою, кто не расслышал, не внял плачам и причитаниям. Человек самолично, графически, зримо приобщался, образно говоря, к иной жизни. Всем своим видом утонченного выскочки он показывал, что до срока посвящен в тайну. Целой школе не хватило бы промокашек, чтобы промокнуть его брызжущее соком горе. Щеки пухлы, живот торчком. Хлеб и мясо поминок никому не идут впрок. Бесстыжее изящество, элегантность бросают встречных в бледность. Черное разлучальное колечко, черные круги под глазами, соскользнувшие на руку. Как легко угадывается безделка мастера метонимии: вместо того, чтобы стянуть кольцом все туловище, он набросил повязку на плечо. В ней нет — как и подобает обстоятельствам — даже намек на усилие, на мускул. Она держится не понятно на чем: на памяти или на слезе. Глаза сужаются под стать, манжеты подыгрывают узине, вертикаль фигуры лишь подчеркивает плоскую проекцию вязки. Приближающиеся и удаляющиеся тоже соотносятся с нею. Все связано черным шнурком, и кто потянул его, пересек границу.

Тех, кто сочувствует людям с траурной повязкой, умерщвлять следует безотлагательно. Они не только посмели заметить, но и присоединились к чужому торжеству. Украдкой они подливают себе соленое вино из ворованной бочки. На дне их сочувственных глаз чернеет зависть. У них ведь тоже есть бабушка, дедушка, мать, отец. Кто же не мечтает о смерти ближнего? Человека, переночевавшего в одном помещении с покойником, невозможно не уважать. Эта ночь позволяет ему снова стать язычником. Отдаться такому или такой — почет. Однажды и мне выпало счастье завешивать зеркала. О нет, я лишь помогал. Маленькое настольное зеркальце для бритья я любовно завесил своим носовым платком. Свет померк, и мы тотчас бросились в объятия, вгрызаясь друг в друга зубами, когтями, кадыками. Пока дом обходили стороной, чтобы и звуком не нарушить мемориальной тишины, за его темными окнами клекот исклевывал рычание, а рычание перегрызало глотку клекоту.

Но тех, кто не замечает траурных повязок и потому не испытывает сочувствия, должно выжигать каленым железом. Раз ничто не полоснуло им по глазам, значит они слепы. Раз их барабанную перепонку не пронзил вопль, значит они глухи. Они не любят своих ближних, ибо не желают им смерти. С такими меня ничто не связывает: ни детские воспоминания, ни юношеская страсть.

Больше всего людей с траурными повязками в Греции и на Западной Украине. Начинать следует оттуда.

— Папа, это смешно?

Вопрос постыдный. «Смешно» не бывает само по себе. Это всегда встречное движение, стык, перехлест. Судить о том, что смешно, можешь только ты сам. Без тебя оно не может стать смешным. Самое чистое выражение смешного — в музыке. Смеясь музыке, невольно оглядываешься. Быть пойманным на таком смехе, все равно, что быть уличенным в безумии. Но, кажется, пора отвечать. Рука уже в полете. Сейчас раздастся звонкая, как смех, пощечина.

Сухость и влажность лучше всего получались у итальянских и голландских мастеров. У итальянцев — сухость, но не та, когда облизываешь губы или ломаешь гребешок о волосы, слепленные песком. Это сухость любимой ладони, которой нечего бояться. Когда к ней ни прикоснешься, она всегда приветлива, гостеприимна. Она ничего не стесняется. Она в теплой тени любви. Так итальянская сухость всегда в тени моря. Назовем ее влажной сухостью. У голландцев — влажность. Сдавленные улицы, скользкие, как рыбы. Кривые рыбы, скользкие, как брусчатка. Пальцы кухарок еще не вытерты о тряпку. Губы девушек еще блестят от воспоминания о поцелуе. В отсыревших складках одежды солнце не днюет, не ночует. Запекшаяся кровь на фазаньем крыле мягка и липка. Пятно с прозеленью (даже солнечное), тень со свинцовым отливом никогда не просыхают. Влажность не зависит ни от времени года или погоды, а от колорита. Мечта о Голландии — это мечта о сырости. Если снова спросишь, за что я люблю тебя, отвечу: «За ладонь и за губы».

Как только Бруно ушел, я бросился в ванную. Это можно выразить только следами. При всем моем отвращении к заговорщичеству с Бруно я чувствую себя заговорщиком. На месте окружающих я бы просто уничтожил нас. В нашем обмене жестами, позами, улыбками заключена душераздирающая тайна. Я бы хотел, чтобы он был намного старше или младше меня. Тогда моя жизнь была бы намного длиннее. Но мы погодки. Мы знаем всех, абсолютно всех. Однажды мы просто взяли ручку и подсчитали. Оказалось, шестьдесят семь. Один из них — в Дрогобыче. Если учесть, что дрогобычан не так уж много, то Дрогобыч — столица мира. Жена колотила в дверь, но я не открыл. Правильно делает, что неистовствует. Как глупа была бы она, если бы не рыдала.

Медленно, чтобы чуть что — отпрянуть, отпрыгнуть, исчезнуть в ближайшем подъезде. Осторожно-осторожно, почти на цыпочках, чтобы не успела: пока дрожащей рукой расстегнет ридикюль, откиннет вуаль — тебя и след простыл. Она может ждать за каждым углом. Она ждет. В ридикюле — пузырек с серной кислотой. Еще хорошо, что предупредили. Иначе — нет, даже подумать страшно.

В эту блеклую линиящую пору у меня начинается глазная цинга. Тоска по цвету так невыносима, что в течение двух месяцев я живу с крепко сомкнутыми веками.

Эти два месяца я словно провожу на Средиземноморье. Мой мир объят синими, оранжевыми, зелеными лоскутками. На зубах похрустывает цедра. Колени, бедра в ссадинах и царапинах. Я постоянно натыкаюсь на стулья, комод, ударяюсь об углы. В эту пору подруги жены и одноклассницы сына невозмутимы и великодушны. Страдальцу все позволено, все его, грешного, прощают. Но самое лучшее средство от глазной цинги — коньяк. Его горячие лучи просвечивают и пронизывают все тело насквозь. Ликующий голос сына — «Папа, папа, снег выпал!» — всегда застает меня врасплох. Прощай, Адриатика! Скоро, скоро мы встретимся, чтобы никогда не расставаться впредь.

Из окна виден лишь кусок площади. После дождя она блестит. Сбоку, с невидимой части, доносятся детские голоса. Дети хохочут, грызут каштаны, насвистывают, прицокивают. Потом разом въезжают на коньках, чтобы тотчас разъехаться кто куда. У блеска минусовая температура. Звонкость спорит с тонкостью и на этот раз не терпит поражения. У каждого точильщика своя площадь. Наперегонки с искрами дети несутся по кругу. Когда их не было видно, я различал сполохи итальянского. Но стоило им встать на коньки, как они сразу же перешли на датский и норвежский.

Больно, когда ощущение себя, собственный образ не совпадают с твоей же жизнью, когда между ними зазор. Значит, неправильный размер. Как с обувью. Либо жизнь жмет, либо она велика на тебя. Что делать? Вопрос нелепый. Ответа на него нет. Это уж ты сама решай. Попробуй разобраться, почему упорно носишь не свой размер. Твое восприятие мира не соответствует миру. Вон тот человек высокий, а этот маленький. Это не моя точка зрения. Если их померить, то можно даже узнать, насколько один длиннее другого. У тебя как в старой живописи: перспективы не существует. Ты не видишь, что кто-то дальше, кто-то ближе. Если постороннему или почти чужому ты вдруг говоришь, что тебя тошнит от фиолетового цвета, он ставит диагноз и разговаривает с тобой еще вежливей. Ты и себя не видишь со стороны. Должно быть, это у тебя с детства. Так ты понимаешь женскую прелесть. Неведение и непосредственность. В жизни принцесса похожа на опереточную героиню. Свою детскость ты поощряешь и развиваешь. Конечно, это срабатывает, но лишь благодаря самой жизни. Когда мы к ней не приспособливаемся, она приспособливается к нам. Принцип компенсации. Люди с нарушенной координацией движений редко с кем-либо сталкиваются. Это благодаря сноровке встречающих. Я не уверен, что тебе следует что-то менять. Хотя, если больно, попробуй. Начни с поведения. Просто веди себя как принято, как пишут в книжках о хорошем поведении. Это удобно — и окружающим и тебе самой. Чувства обретут какую-то форму. С лицом еще не все потеряно. Но лет через пять будет поздно. Нет, на твоём лице не хаос, а слабость. Слишком уж потакаешь себе. Пожестче с собой. Настоящие принцессы выносливы.

Нет, это не история болезни (или здоровья). Я мог ошибиться. Мы ведь почти не видимся. Нет, никому не скажу. Кроме тебя, все это едва ли кому интересно.

Маленькая страна, усыпанная апельсинами, как ребенок корью. В траве валяются апельсины-паданки. Ребятишки бросаются мандаринами, подростки — апельсинами. Роль апельсинов в истории этой страны, в ее искусстве и религии определяющая.

Одну комнату я полностью заставил кувшинами, бутылками, жбанками. Прежде она была нема. Теперь зазвучала. Когда кто-нибудь приходит в гости — а в гости никто никогда не приходит — я веду гостя в комнату с кувшинами и спрашиваю: «Слышите?». Только сумасшедший ответит «нет» или «что слышу?». У каждого сосуда свой голос. Молчит лишь один. Его хрупкое горло навсегда впечаталось в мои ладони. Но эта тягучая, персидская, тягучая песнь...

Почему? Как решали: собравшись вместе или порознь? Думали о детях, внуках, правнуках? Отдавали себе отчет, насколько это важно? Прожили все четыре поры года и уже тогда решили? Или вовсе не решали, понадеявшись на своих идолиц? Что же они наделали? Куда глаза их глядели? Черт с ними самими, но дети, внуки, правнуки? Или блажь какая нашла? Или думали, что лишь тому будет хорошо, кому поначалу плохо? Почему этот каменистый тусклый берег? Эта безучастная хвоя? Это сирое небо? Разве не чуяли, что где-то дальше рыхлый пушистый воздух, сладкий колер, берег нараспашку? А может, и вправду не чуяли? Но если так, то ведь это еще хуже, еще невыносимей, да?

В комнату входит стюардесса. У нее движения и поступь хозяйки. Мы пристегиваем ремни. Мимически она объясняет, что следует делать в случае аварии. Ее пантомима возмутительна: весь трагизм сведен на нет формальностью и топорностью жестикуляции. Отстегнув ремни, мы возвращаемся к шахматам. Сын снова проигрывает. Присутствие стюардессы не отвлекает. Она позвякивает на кухне. Наконец, приносит обед. Я ворчу, что нет соли. К вечеру мы чувствуем себя утомленными: продолжительность путешествия все же дает себя знать. Пора спать. Я раздеваюсь и ложусь в кровать. Близость звезд будоражит. Стюардесса ложится со мной. Когда она успела раздеться? Утром я вижу ее снова в форме. Сок. Тосты. Кофе или чай? Нас явно подталкивают к решительным действиям. Сын возвращается из школы. Улучив момент, рассказывает, что все всё знают. Первые страницы утренних газет целиком о нас. Ночью в моих объятиях она шепчет: «Не поддавайся. Это провокация». Голова идет кругом. Кто же с кем и кто против кого? Я принимаю самое мужественное решение: ждать.

Как же он смел возложить на меня — почему на меня? — это бремя! Памятуя о давнишней записи отца, я вырядился в костюм, чтобы надеть траурную повязку. Лицо мое сдавлено мыслью о том, что теперь мой черед продолжать. Я далеко не молод. Рядом сквозь августовский зной движется беременная глыба жены. На щеке до сих пор еще звенит пощечина. Может, начать — но ведь это не начало, переход не должен быть замечен — с эпизода пощечины? В этом была бы не только логика, за которую он едва ли похвалил бы меня, но и звуковая переключка — за это похвалил бы. Что еще он мог мне оставить? Это и вправду единственный шанс. Завтра у меня встреча с Бруно. Отчего отец предпочел меня ему? Конечно, из-за возраста. Интересно, знает ли Бруно? Лицо мое чернее повязки. Прохожие испуганно уступают мне дорогу. Им и в голову не приходит, что я убиваюсь не по отцу, а по себе. В моем возрасте уже непозволительно делать это дурно. Мой вкус не выдержит корявости собственной руки. Но ведь не напрасно он был моим отцом?!

Уже не скажешь скоро осень вот ты идешь по парку как по сердцевине витражного стекла там где оборвется ограда нищета красок лютеранство света здесь листья маленькие как дети дети маленькие как листья трогать каштан леденеть от головокружительного ритма его впадин и вздутий и тут же вспомнить Лику чередование холодных и горячих мест на ее теле и тут же забыть вдыхать настоенный на вине и лепестках ребячьих голосов воздух услышать лепет прокитаенных строк пожалуйста не улетай о госпожа моя перенестись на них в мир по имени о бабочка о мусульманка бог с ним с тем фарсом с чего все началось настроить ограду сквозную длинную красивую как цитата но все же препону дотронуться до графического образа ограды не отрывая взгляда от порхающего поодаль и в сторону образа бабочки плавно глотать вино настоенное на осени подозревать себя в любви листья и дети всплески голосов осень и вино понять еще вчера не жил кощунствовал